

ОН ОПРЕДЕЛЯЕТ
ЧТО ЕСТЬ
ИСТИНА

— СИНДРОМ БОГА

ЭЛИАС
ГРИФФИН

—

■
ФОРМИРУЕТ РЕАЛЬНОСТЬ.

18+

Элиас Гриффин
Синдром Бога

«Автор»

2026

Гриффин Э.

Синдром Бога / Э. Гриффин — «Автор», 2026

Журналист Антон пишет профиль знаменитого борца с «сектами» — и постепенно понимает: перед ним не защитник общества, а человек, присвоивший себе право решать, кого считать нормой, а кого стереть. Чем глубже расследование, тем яснее: самый опасный культ может стоять не в подполье, а на кафедре.

© Гриффин Э., 2026

© Автор, 2026

Элиас Гриффин

Синдром Бога

Данное произведение является художественным. Все персонажи, события, организации, компании и описанные ситуации вымышлены либо использованы в художественной интерпретации. Любые совпадения с реально существующими или существовавшими людьми, организациями, компаниями, событиями или обстоятельствами являются случайными и непреднамеренными.

Пролог

Нас с детства учат бояться темноты. Мы привыкаем думать, что зло скрывается в неосвещенных переулках, носит грязную одежду, говорит хриплым, угрожающим шепотом и оставляет за собой кровавые следы. Массовая культура приучила нас к мысли, что монстр всегда уродлив — если не внешне, то хотя бы в своих проявлениях. Мы ждем оскала, безумного блеска в глазах, неконтролируемой ярости. И именно эта наивная, почти детская вера в очевидность зла делает нас абсолютно незащитными перед теми, кто приходит к нам при свете дня.

За окном шел тяжелый, монотонный октябрьский дождь. Капли медленно сползали по стеклу старой университетской библиотеки, искажая желтый свет уличных фонарей. Я сидел за массивным дубовым столом, перед экраном ноутбука, рядом с которым возвышалась стопка архивных папок, распечаток и стенограмм.

На экране светилась фотография. Мужчина лет шестидесяти, с благородной сединой, в безупречно скроенном твидовом пиджаке. Его лицо выражало спокойную, снисходительную мудрость. Глаза смотрели прямо в объектив — умно, проницательно, с легкой, едва уловимой иронией человека, который знает о жизни немного больше, чем все остальные. Это был профессор. Человек, чье имя произносили с придыханием в академических кругах, чьи книги раскупались тысячными тиражами, к чьему мнению прислушивались телеведущие, политики и следователи. Он был непререкаемым авторитетом. Санитаром общества, защищающим слабые умы от манипуляторов, сект и деструктивных культов.

Я смотрел на его лицо и чувствовал, как по спине ползет холод. Не тот резкий, адреналиновый холод, который возникает при виде направленного на тебя пистолета. Это был медленный, парализующий озноб осознания.

Мое расследование началось полгода назад как обычное редакционное задание. Большой, развернутый профайл для воскресного приложения. «Покажи нам человека за кафедрой», — сказал тогда редактор. «Покажи его интеллект, его борьбу, его принципы». Я взялся за работу с искренним энтузиазмом. Я не был циником, ищущим грязь ради кликов. Мне действительно хотелось понять природу этого выдающегося ума. Я ходил на его лекции, слушал его мягкий, гипнотически ровный баритон. Я видел, как студенты ловят каждое его слово, как взрослые, состоявшиеся люди кивают, соглашаясь с его безупречной логикой. Он говорил о добре и зле, о хрупкости человеческой психики, о том, как легко люди поддаются чужому влиянию и как важно сохранять критическое мышление.

Но чем глубже я погружался в его прошлое, тем отчетливее проступало то, что я позже назвал «слепым пятном». Это не было чем-то явным. Никаких криминальных сводок, никаких прямых угроз, никаких скандалов с насилием. Просто тишина. Глухая, неестественная тишина вокруг тех имен, которые когда-то стояли рядом с его именем, но посмели с ним не согласиться.

Сначала я думал, что это совпадение. Научный мир жесток, карьеры рушатся, люди выгорают. Но потом я начал собирать эти истории воедино. Один блестящий оппонент внезапно потерял кафедру, был обвинен в неэтичном поведении на основе анонимных доносов и в итоге спился в добровольном изгнании. Другой исследователь, попытавшийся оспорить методы про-

фессора, подвергся такой массовой травле в прессе, что оказался в психиатрической клинике с тяжелейшим нервным срывом. Третий просто уехал из страны, оборвав все связи, и бросал трубку при одном упоминании имени своего бывшего коллеги.

Они не были убиты. Их не преследовали люди в черных плащах. Их уничтожили иначе. Социально. Интеллектуально. Психологически.

Профессор никогда не марал рук. Он лишь произносил несколько слов с кафедры. Давал «экспертную оценку». Выражал «глубокую озабоченность» психическим состоянием своего оппонента. И дальше невидимая грибница его влияния — преданные ученики, лояльные журналисты, благодарные чиновники — делала все остальное. Общество само отторгало тех, на кого он указывал своим спокойным, ухоженным пальцем.

Я помню наш первый разговор в его кабинете. Он сидел напротив меня, сложив руки домиком, и мы говорили о природе власти. «Видите ли, — сказал он тогда, глядя на меня, — большинство людей не хотят свободы. Они хотят, чтобы им сказали, что правильно, а что нет. Мораль — это не врожденное чувство. Это инструмент. И в чьих руках он находится, тот и определяет реальность».

Тогда мне показалось это изящным философским парадоксом. Сейчас, глядя на его фотографию в пустом архиве, я понимал: это было признание.

Он не считал себя злодеем. В этом крылся самый страшный парадокс. Злодей знает, что нарушает правила. Профессор же искренне верил, что он и есть правило. Изучая десятилетиями секты и культы, изучая методы подавления воли, он не просто понял, как они работают. Он усовершенствовал их. Он очистил их от маргинальной мистики, одел в строгий академический костюм и легализовал.

Если Бог решает, кому жить, а кому умереть, то человек высшего интеллекта, по его логике, имеет право решать, кто достоин существовать в социуме, а кто должен быть стерт. Это был чистый, кристаллизованный синдром Бога. Без мании величия, без истерик. Холодная уверенность в собственном праве судить.

Я закрыл ноутбук. Дождь за окном усилился, размывая огни ночного города. У меня не было улик, с которыми можно пойти в полицию. Нельзя посадить человека в тюрьму за то, что он лишил кого-то репутации. Нельзя предъявить обвинение в том, что чьи-то слова довели человека до безумия. Закон слеп к таким материям.

Но я должен был написать этот текст. Не для того, чтобы сорвать с него маску — маска давно приросла к лицу и стала плотью. А для того, чтобы показать, как легко мы отдаем свою волю тем, кто говорит правильные слова.

Эта история не о маньяке, прячущемся в тени. Эта история о человеке, который стоит в центре ярко освещенной сцены. И о нас — тех, кто сидит в зале и добровольно, с восторгом ему аплодирует. Завтра он снова выйдет к аудитории. И я буду там. В последнем ряду. Наблюдать за тем, как вершится самая тихая и самая страшная власть на земле.

Глава 1. Задание

Дождь хлестал по панорамным окнам редакции с монотонной, убаюкивающей настойчивостью. Октябрь в этом году выдался тяжелым, серым, пропитанным влагой и запахом прелой листвы, который проникал даже сквозь современные системы вентиляции. Я сидел в кабинете главного редактора, наблюдая, как капли медленно сползают по стеклу, искажая огни вечернего города.

— Мне нужен не просто текст, Антон, — голос главного редактора, Виктора Сергеевича, звучал тихо, но веско. Он стоял у окна, заложив руки за спину, и смотрел на пробки внизу. — Мне нужен портрет эпохи через призму одного человека. Мы запускаем новый формат воскресных лонгридов, и открывать его должен кто-то безупречный. Кто-то, чей авторитет не вызывает сомнений ни у власти, ни у оппозиции, ни у академического сообщества.

Он повернулся ко мне и положил на стол глянцевую фотографию. С нее на меня смотрел мужчина лет шестидесяти. Благородная седина, аккуратная бородка, пронизательный, чуть ироничный взгляд. На нем был идеально скроенный пиджак, который выдавал в нем человека академической среды, но без той неряшливости, которая часто присуща кабинетным ученым.

Это был Профессор. Имя, которое не нуждалось в дополнительных представлениях.

— Александр Леонидович? — я взял фотографию в руки. Бумага была холодной. — Вы хотите, чтобы я написал профайл о главном борце с деструктивными культами?

— Именно, — кивнул Виктор Сергеевич, садясь в свое кресло. — Подумай сам. У него безупречная репутация в обществе. Он выступает как главный эксперт по манипуляциям сознанием, как защитник морали и нравственности. К нему прислушиваются следователи, его книги читают в захлеб, его лекции собирают тысячные залы. В наше время тотального недоверия ко всему, он — редкий пример непререкаемого авторитета. Я хочу, чтобы ты показал нам человека за этой бронзой. Как он мыслит? Что им движет? Как он выдерживает это колоссальное давление, ежедневно сталкиваясь с худшими проявлениями человеческой природы — с теми, кто ломает чужие судьбы и подчиняет себе волю слабых?

Я смотрел на фотографию. Задание казалось не просто интересным, оно было вызовом. Я не был циником, ищущим грязь ради громкого заголовка. Мне, как журналисту, всегда была интересна природа человеческого влияния. Как одни люди заставляют других верить себе? И Профессор, человек, посвятивший жизнь разоблачению ложных пророков, казался идеальным объектом для такого исследования.

— Какой объем? — спросил я, убирая фотографию в блокнот.

— Не ограничиваю. Собирай материал, ходи на его лекции, поговори с коллегами. Сделай глубоко. Интеллектуально. Без дешевых сенсаций.

Так началось мое погружение в жизнь человека, которого общество добровольно назначило своим моральным компасом.

Следующие несколько дней я провел в тишине архивов и за экраном ноутбука, выстраивая хронологию его жизни. Я начал с самого начала, с тех сухих фактов, которые формируют фундамент любой биографии. Официальная справка гласила, что Профессор родился в интеллигентной семье, получил блестящее гуманитарное образование, но его путь к статусу главного эксперта страны не был прямым.

Ключевой точкой его биографии, тем водоразделом, который разделил его жизнь на «до» и «после», стал 1979 год. В 1979 году Профессор эмигрировал. Это был сложный период, время холодной войны, закрытых границ и жесткой идеологической цензуры. Он покинул страну, уехав на Запад, и именно там, в академических кругах Европы и Америки, он сформировал свои базовые взгляды.

Я читал его ранние статьи, опубликованные в эмигрантской прессе. В них еще не было той ледяной уверенности, которая появится позже. Это были тексты ищущего ума, пытающегося осмыслить феномен тоталитарного мышления. Конец семидесятых и начало восьмидесятых на Западе были временем расцвета новых религиозных движений и громких трагедий, связанных с ними. Именно там Профессор впервые столкнулся с тем, как легко человеческая психика поддается форматированию. Он изучал методы подавления воли, анализировал тексты харизматичных лидеров, наблюдал за тем, как люди добровольно отказываются от своей свободы ради иллюзии безопасности и принадлежности к «избранным».

Он вернулся на родину в начале девяностых, когда страна переживала колоссальный идеологический вакуум. Люди, потерявшие прежние ориентиры, массово искали новые смыслы, становясь легкой добычей для всевозможных гуру, целителей и проповедников. И Профессор вернулся не просто как репатриант. Он вернулся как человек, обладающий уникальным знанием. Он привез с собой методологию, терминологию и, главное, абсолютную уве-

ренность в своей правоте. Прежде чем стать непререкаемым авторитетом, он должен был доказать обществу, что оно больно, и что только он знает, как выглядит лекарство.

Работая в читальном зале Государственной библиотеки, я просматривал микрофиши с публикациями начала девяностых. Мне было важно понять, как именно происходило его восхождение на этот пьедестал. И среди множества хвалебных рецензий и восторженных интервью я наткнулся на один любопытный документ. Это была стенограмма беседы, опубликованная в малотиражном религиозноведческом сборнике, который давно перестал издаваться.

Текст представлял собой воспоминания доктора философских наук, религиоведа Сергея Иваненко о первых годах работы Профессора после его возвращения. Я вчитывался в бледный шрифт на экране аппарата, и некоторые фразы заставляли меня останавливаться и перечитывать их дважды.

«Наше знакомство было отчасти случайным, отчасти оно было и закономерным. Дело в том, что я работал тогда в здании, которое сейчас уже снесено — это был парламентский центр при Верховном Совете России. А Отдел катехизации находился неподалёку от Высоко-Петровского монастыря, вот оттуда мне позвонил ..., который работал в обществе “Знание” в советское время, сказал, что вот они собирают людей, которые умеют читать лекции и что-то знают о религии, и мне было бы полезно пообщаться со специалистом, который занимается новыми религиями и сектами, недавно приехал из Америки и т.д. Я пришёл, значит, поговорить. Но оказалось, что, действительно, такой человек — активный, глаза горят у него. Они до сих пор у него горят, хотя прошло уже, наверное, лет 30, я думаю... Он мне стал говорить, что вообще никакие эти справочники не нужны, и вообще изучать ничего тут не нужно, всё уже написано на английском языке в основном. И нужно, конечно, согнуть эти все секты в бараний рог: кого запретить, кого-то сильно ограничить и прочее... Но опасность здесь мне почудилась в чём. Что, действительно, у людей возник какой-то запал именно не изучать и не вести диалог с новыми какими-то, с другими религиями, не обязательно с новыми, а действовать с позиции силы — привлекать».

Текст обрывался, переходя на другую страницу, но мне было достаточно этого фрагмента. Я откинулся на жесткую спинку библиотечного стула и потер уставшие глаза. «Согнуть в бараний рог». «Действовать с позиции силы». Эти слова резко контрастировали с тем образом спокойного, рассудительного интеллектуала, который Профессор транслировал с экранов телевизоров сегодня. В этих воспоминаниях сквозила не научная отстраненность, а фанатичная, почти пугающая целеустремленность. Он не хотел изучать феномен. Он хотел его уничтожить.

Я сделал копию этой страницы и вложил ее в свою папку. Это был лишь крошечный штрих, легкая тень на безупречном фасаде, но именно такие детали делают портрет живым.

Продолжая свое исследование, я перешел от истории к современности. Мне нужно было понять масштаб его текущего влияния. Оказалось, что Профессор — это не просто медийная фигура или популярный лектор. Его власть имела вполне конкретное, институциональное измерение.

Он являлся бессменным председателем влиятельного экспертного совета при одном из ключевых федеральных ведомств. Этот совет занимался проведением религиозноведческих и психолого-лингвистических экспертиз. Изучая судебную практику последних десяти лет, я обнаружил поразительную закономерность: решения этого совета часто становятся основой для судебных разбирательств.

Я углубился в электронные базы судебных решений. Мое внимание привлекло одно конкретное дело, датированное октябрём 2018 года. Это был процесс в небольшом областном центре над местной общественной организацией «Светлый путь». Организация представляла собой группу энтузиастов, увлеченных альтернативной педагогикой и восточной философией. Они проводили семинары, читали лекции о саморазвитии, организовывали летние лагеря для

взрослых. Никаких заявлений в полицию о мошенничестве, никаких жалоб на насилие или вымогательство.

Но в какой-то момент деятельностью группы заинтересовалась прокуратура. И главным, по сути, единственным доказательством обвинения стало 60-страничное заключение экспертного совета, подписанное Профессором.

Я читал этот документ, поражаясь его стилистике. Это был не сухой юридический или медицинский текст. Это был блестящий, литературно выверенный приговор. Профессор не оперировал фактами физического принуждения. Он использовал термины вроде «скрытое психологическое насилие», «модификация поведения», «контроль среды». Он доказывал, что отсутствие жалоб со стороны участников организации — это не признак их благополучия, а, наоборот, симптом глубокого подавления их воли.

Судья, женщина с двадцатилетним стажем, даже не пыталась вникнуть в философские тонкости. В тексте судебного решения целые абзацы были просто скопированы из экспертизы Профессора. Организацию ликвидировали, имущество конфисковали, а ее руководитель, бывший школьный учитель математики, получил условный срок и полный запрет на преподавательскую деятельность. Его жизнь была разрушена не потому, что он совершил преступление, а потому, что экспертный совет постановил: его идеи опасны.

Власть Профессора заключалась не в том, что он мог посадить человека в тюрьму своими руками. Его власть была гораздо тоньше и страшнее. Он обладал монополией на истину. Он определял, что является нормой, а что — патологией. И государственная машина, тяжеловесная и неповоротливая, с готовностью принимала его интеллектуальные конструкции как руководство к действию.

В одном из старых публицистических журналов, пытаясь найти критику подобных методов, я наткнулся на статью российского публициста и журналиста Игоря Лысенко. Статья была посвящена психологии авторитарных лидеров и тому, как они формируют свою реальность. Лысенко писал:

«... лгущий человек демонстрирует таким образом отсутствие целостности личности, весьма ограничивая свою способность к гармоничному восприятию реальности, открытости к ней (говоря словами католического богослова Ганса Кюнга), он ущербен и эгоистичен, часто нетерпим и предубежден ко всему тому, что не вписывается в его мировосприятие, ну и, как результат, более подвержен склонности выдавать желаемое за действительное, что является ничем иным как самообманом».

Я перечитал эту цитату несколько раз. Лысенко писал это о лидерах сект, которых разоблачал Профессор. Но почему-то, глядя на сухие строчки судебного приговора, основанного исключительно на мнении одного человека, мне показалось, что эта характеристика — нетерпимость ко всему, что не вписывается в его мировосприятие — могла бы быть применена и к самому эксперту.

Но это были лишь мои домыслы, кабинетные размышления, рожденные в тишине архивов. Чтобы написать настоящий профайл, мне нужно было увидеть Профессора вживую. Почувствовать его энергетику. Понять, как он взаимодействует с аудиторией.

Его первая открытая лекция в этом семестре проходила в историческом здании Главного гуманитарного университета. Был вечер четверга. Дождь, не прекращавшийся всю неделю, наконец-то стих, оставив после себя влажный блеск на брусчатке и густой туман, цепляющийся за чугунные фонари.

Я шел по аллее, ведущей к главному корпусу, вдыхая холодный осенний воздух. Атмосфера старого университета всегда действовала на меня успокаивающе. Массивные дубовые двери, стертые каменные ступени, высокие сводчатые потолки, отражающие эхо шагов.

Аудитория-амфитеатр, рассчитанная на триста человек, была заполнена до отказа. Я пришел за двадцать минут до начала, но с трудом нашел свободное место в верхних рядах. Огля-

девшись, я с удивлением отметил состав слушателей. Здесь были не только студенты с тетрадями и планшетами. Половину зала составляли взрослые люди: мужчины в строгих костюмах, женщины с уставшими, но сосредоточенными лицами, несколько человек в рясах, пара фигур, чья выправка безошибочно выдавала сотрудников силовых ведомств.

В зале стоял тихий, почти благоговейный гул. Никто не смеялся, не обсуждал бытовые проблемы. Люди ждали.

Ровно в девятнадцать ноль-ноль боковая дверь открылась, и в аудиторию вошел Профессор.

Гул стих мгновенно. Как будто кто-то повернул невидимый выключатель.

Он прошел к кафедре неспешным, уверенным шагом. Вживую он казался еще более внушительным, чем на фотографиях. Высокий, с прямой спиной, в своем неизменном твидовом пиджаке. Он положил на трибуну небольшую папку, но ни разу за всю лекцию не открыл ее.

— Добрый вечер, — произнес он.

Он не пытался перекричать зал, он говорил так тихо, что каждому присутствующему приходилось затаить дыхание и податься вперед, чтобы не пропустить ни слова. Это был первый, самый простой, но самый эффективный прием удержания внимания.

— Сегодня мы поговорим о свободе, — начал Профессор, обводя зал своим спокойным взглядом. — Точнее, о той иллюзии свободы, которой мы так дорожим. Мы привыкли думать, что наш разум — это крепость. Что наши решения принадлежат только нам. Но история деструктивных культов, история массовых манипуляций учит нас одному горькому уроку: человеческая психика хрупка. Она жаждет подчинения. Она ищет того, кто снимет с нее бремя ответственности за выбор.

Я достал блокнот и ручку, собираясь делать пометки, но вскоре поймал себя на том, что просто смотрю на него.

Я начал наблюдать за аудиторией. И то, что я увидел, поразило меня больше, чем слова лектора. На лекциях Профессора аудитория вела себя не как студенты. Студенты обычно критичны. Они отвлекаются, они шепчутся, они смотрят в телефоны, они внутренне спорят с преподавателем.

Здесь этого не было. Люди сидели как замороженные слушатели. Их лица выражали абсолютное, некритичное принятие. Они кивали в такт его словам, их глаза были прикованы к его фигуре. Профессор говорил о страшных вещах — о разрушении личности, о психологическом насилии, о том, как лидеры сект ломают волю своих адептов. Но он говорил об этом с такой отстраненностью, с такой безупречной логикой, что его слова воспринимались как абсолютная истина.

Он полностью подавлял критическое мышление зала. Не криком, не угрозами, а своим интеллектуальным превосходством. Он выстраивал свои аргументы так, что с ними было невозможно спорить. Любое сомнение в его словах, казалось бы, проявлением глупости или, что еще хуже, сочувствием к тем самым манипуляторам, которых он разоблачал.

— Мораль, — продолжал Профессор, медленно прохаживаясь вдоль кафедры, — это не врожденное свойство. Это защитный контур общества. И когда этот контур дает трещину, в нее проникают те, кто готов предложить людям суррогат смысла. Наша задача — не просто изучать эти явления. Наша задача — защищать тех, кто не способен защитить себя сам. Даже если для этого приходится принимать жесткие решения.

Я вспомнил дело центра «Светлый путь». Вспомнил 60-страничную экспертизу. «Жесткие решения». В его устах это звучало как благородная жертва, как тяжелый крест, который он вынужден нести ради блага общества.

Лекция длилась полтора часа, но время пролетело незаметно. Он не использовал презентаций, не показывал шокирующих видео. Только его голос, его логика и его абсолютная уверенность в своем праве судить.

Когда он закончил, зал взорвался аплодисментами. Это были не вежливые хлопки студентов, дождавшихся конца пары. Это были овации людей, получивших ответы на свои самые глубокие страхи.

Профессор стоял у кафедры, слегка склонив голову, принимая эту благодарность с достоинством римского патриция. Затем он поднял руку, призывая к тишине.

— У нас есть время для одного или двух вопросов, — произнес он.

В зале повисла тишина. Никто не решался нарушить эту идеальную конструкцию, которую он только что выстроил.

Я сидел в двенадцатом ряду, почти по центру. Мой блокнот лежал на коленях, абсолютно пустой. Я не собирался задавать вопросов. Моя задача на сегодня была просто наблюдать.

Но в этот момент Профессор поднял глаза. Его взгляд медленно скользнул по рядам, поднимаясь все выше, пока не остановился прямо на мне.

В аудитории на триста человек сложно быть уверенным, что лектор смотрит именно на тебя. Но я был уверен. В его глазах не было ни угрозы, ни враждебности. Только холодный, пронизывающий интерес. Как у биолога, заметившего новый микроорганизм на предметном стекле.

Тишина в зале стала почти звенящей. Профессор не отводил взгляда. Секунда, две, три. Это длилось невыносимо долго.

Затем он чуть заметно улыбнулся — одними уголками губ — и, не прерывая нашего зрительного контакта, произнес своим ровным, гипнотическим голосом:

— Вы должны понимать одну важную вещь. Изучение чужого разума — это дорога с двусторонним движением. Истинный исследователь всегда рискует найти то, к чему не готов.

Он выдержал паузу, позволив этим словам повиснуть в тяжелом воздухе аудитории, затем собрал свои бумаги и, не прощаясь, вышел в боковую дверь.

Зал начал медленно оживать, наполняясь скрипом стульев и приглушенными голосами. А я продолжал сидеть на своем месте, чувствуя, как по спине ползет неприятный, липкий холодок. Я пришел сюда, чтобы изучать его. Но в этот момент я отчетливо понял: он уже начал изучать меня.

Глава 2. Идеальный фасад

Тяжелые дубовые двери главного гуманитарного корпуса поддались с глухим, протяжным скрипом, впуская меня из промозглой октябрьской слякоти в сухое, натертое мастикой тепло академического святилища. Я стряхнул капли дождя с плаща и направился к широкой мраморной лестнице. Мои шаги гулким эхом разносились по пустынным коридорам. Было раннее утро субботы, время, когда университет обычно спит, но Профессор назначил встречу именно на этот час. «Тишина способствует ясности мысли», — сказал он мне по телефону.

Я поднимался на третий этаж, прокручивая в голове план предстоящего разговора. Мой диктофон лежал во внутреннем кармане пиджака, блокнот был исписан вопросами, но внутри меня росло странное, сосущее чувство тревоги. Это не был страх перед авторитетом. За годы работы в журналистике я брал интервью у министров, олигархов и криминальных авторитетов. Я привык к давлению власти. Но власть Профессора имела иную природу. Она не опиралась на деньги или вооруженную охрану. Она строилась на подавляющем превосходстве и праве выносить моральные приговоры, которые общество принимало без апелляций.

Приемная перед его кабинетом оказалась пуста. Секретаря не было. Только массивный стол красного дерева, кожаный диван для ожидающих и высокая двустворчатая дверь, обитая темной кожей с латунными гвоздиками. На двери висела строгая медная табличка с его именем и регалиями. Я посмотрел на часы — ровно девять ноль-ноль. Я поднял руку и дважды стукнул костяшками пальцев по мягкой коже.

— Входите, Антон, открыто, — раздался из-за двери спокойный голос.

Я нажал на тяжелую бронзовую ручку и переступил порог.

Первое, что ударило мне по глазам, — это свет. Кабинет располагался в угловой части здания, и два огромных, от пола до потолка, арочных окна выходили на восток. Осеннее солнце, только что прорвавшееся сквозь низкие тучи, било прямо в стекла. Профессор сидел за массивным Т-образным столом спиной к окнам. Из-за этого мощного контрового света его фигура казалась темным, почти монументальным силуэтом, лишенным мелких деталей, в то время как я, стоящий у дверей, был освещен полностью, до последней нитки на пальто.

Это был не случайный архитектурный изыян. Это была блестяще выверенная мизансцена.

— Проходите, присаживайтесь, — он указал изящным жестом на кресло по ту сторону стола.

Я подошел и опустился в кресло. Оно оказалось неожиданно глубоким и чрезмерно мягким. Мое тело буквально провалилось в податливую кожу, колени оказались чуть выше таза, а спина инстинктивно ссутулилась. Чтобы смотреть в лицо Профессору, мне пришлось слегка задрать подбородок. Его же кресло, напротив, было жестким, с высокой прямой спинкой, заставляющей держать идеальную осанку. Он возвышался надо мной, как судья над подсудимым.

Пока я доставал диктофон и устраивался в этом анатомически унижительном положении, я начал рассматривать стены кабинета. Они были превращены в сплошной визуальный бастион его авторитета. Ни одного свободного сантиметра обоев. Везде висели дипломы в тяжелых рамах, благодарственные письма от министерств, грамоты от силовых ведомств, фотографии с международных симпозиумов. На снимках Профессор пожимал руки людям, чьи лица ежедневно мелькали в вечерних новостях: генералам, политикам, иерархам. Это не было банальным тщеславием. Тщеславный человек вешает одну-две самые важные фотографии на видное место. Здесь же была выстроена глухая стена из доказательств его неприкосновенности. Каждая рамка словно кричала вошедшему: «Посмотри, кто стоит за мной. Подумай, прежде чем задать неверный вопрос».

Пространство кабинета было идеальным механизмом для подавления собеседника. Свет, ослепляющий гостя и скрывающий мимику хозяина; кресло, лишаящее физической опоры; стены, транслирующие абсолютную власть. К тому моменту, как я нажал кнопку записи на диктофоне, я уже чувствовал себя проигравшим на чужом поле.

— Я ценю вашу пунктуальность, Антон, — произнес Профессор, складывая руки домиком. Его глаза смотрели на меня с вежливым, но холодным интересом. — О чем вы хотели поговорить сегодня? О природе человеческих заблуждений?

— Я хотел бы поговорить о цене вашей работы, Александр Леонидович, — начал я, стараясь, чтобы голос звучал твердо. — Вы десятилетиями находитесь на передовой борьбы с деструктивными культами. Вы разрушаете организации, которые считаете опасными. Но у любой борьбы есть оппозиция. В академической среде, в прессе часто звучат голоса тех, кто не согласен с вашими методами. Как вы справляетесь с критикой?

Профессор чуть заметно улыбнулся. Это была снисходительная улыбка взрослого, слушающего наивный вопрос ребенка.

— Критика, Антон, — это необходимый элемент научного дискурса. Я приветствую критику, когда она исходит от людей, ищущих истину. Но мы с вами должны быть реалистами. В моей сфере деятельности ставки слишком высоки. Те, кого вы называете «оппозицией», редко действуют из чистого академического интереса.

Он сделал паузу, позволив тишине заполнить кабинет. Я вспомнил историю, которую раскопал накануне в газетных архивах. Это был микро-кейс, крошечный эпизод из 2014 года, который не попал в большие новости, но сломал одну конкретную жизнь. Речь шла о социологе Валерии Игнатове, молодом и перспективном исследователе из регионального университета. Игнатов опубликовал монографию, в которой попытался доказать, что не все новые религиозные движения являются деструктивными, и что жесткое давление государства часто лишь

радикализирует их. Он не нападал на Профессора лично, он лишь призывал к более тонкому, дифференцированному подходу.

Реакция Профессора тогда была молниеносной и сокрушительной. Но он не стал спорить с Игнатовым о социологических методах. Он использовал другой прием.

— Вы имеете в виду случаи, подобные истории с Валерием Игнатовым? — спросил я, внимательно следя за его реакцией. — Когда он выпустил свою книгу, вы не стали опровергать его данные. Вы выступили на федеральном канале и заявили, что риторика Игнатова подозрительно совпадает с методичками экстремистских группировок. Вы сказали, цитирую: «Я не утверждаю, что этот молодой человек получает финансирование от террористов, но его тексты — это идеальное идеологическое прикрытие для тех, кто готовит массовые самоубийства». После этих слов университет расторг с ним контракт, а издательства отказались печатать его работы.

Профессор ничуть не смутился. Его лицо осталось абсолютно безмятежным.

— Вы прекрасно подготовились, Антон. Это делает вам честь, — его голос звучал мягко, почти ласково. — Но вы упускаете суть. Я не разрушал карьеру господина Игнатова. Я лишь указал на объективные связи. Видите ли, идеи не существуют в вакууме. Когда человек начинает использовать терминологию, оправдывающую психологическое насилие, он автоматически становится частью этой системы насилия. Даже если сам он сидит в уютном кабинете и считает себя объективным ученым.

Это был классический метод «вины по ассоциации». Профессор владел им виртуозно. Он никогда не опускался до прямых оскорблений или грубой клеветы. Он просто брал своего оппонента и тонкой, изящной нитью привязывал его к чему-то маргинальному, грязному или опасному. Он создавал токсичное облако вокруг имени критика, и общество само, инстинктивно, отшатывалось от этого человека.

— Но ведь Игнатов не призывал к насилию, — возразил я, пытаясь выровнять спину в неудобном кресле. — Он призывал к диалогу.

— Диалог с раковой опухолью невозможен, Антон, — отрезал Профессор. В его голосе впервые промелькнула сталь. — Ее можно только вырезать. И если кто-то стоит рядом с хирургическим столом и кричит, что опухоль имеет право на существование, потому что она тоже состоит из клеток... что ж, этот человек становится пособником болезни. Я лишь называю вещи своими именами. Общество должно знать, кто открывает двери инфекции.

Я смотрел на него и понимал, что он не считал себя интриганом, устраняющим конкурентов. Он верил, что любой, кто не согласен с его радикальной хирургией, является врагом общественного здоровья.

— Хорошо, — я перевернул страницу блокнота. — Давайте поговорим о тех, кого вы защищаете. О жертвах. Вы общались с тысячами людей, прошедших через деструктивные культы. Людей, чья воля была сломлена, чьи семьи были разрушены. Что вы чувствуете, когда слушаете их истории?

Я задал этот вопрос, ожидая услышать стандартный набор гуманистических фраз: сострадание, боль за человеческие судьбы, желание помочь. Это то, что обычно говорят люди помогающих профессий. Но ответ Профессора заставил меня внутренне содрогнуться.

Он медленно перевел взгляд на окно, за которым ветер гнал по небу тяжелые серые облака.

— Что я чувствую? — задумчиво повторил он. — Знаете, Антон, массовая культура приучила нас к мысли, что жертва всегда невинна. Что это просто случайный прохожий, на которого из-за угла напал злодей. Но в сфере психологического манипулирования все обстоит иначе.

Он повернулся ко мне, и в его глазах я не увидел ни капли сочувствия.

— Большинство этих людей, — продолжил он, тщательно подбирая слова, — изначально несут в себе глубокий изъян. Это не просто доверчивость. Это патологическая интеллектуальная слабость. Они приходят в эти организации не потому, что их обманули. Они приходят туда, потому что отчаянно ищут подчинения. Они не способны выносить тяжесть свободы. Свобода требует ответственности, критического мышления, способности принимать удары судьбы. А у этих людей, как мы говорим в психологии, крайне низкая толерантность к фрустрации.

Он говорил о сломанных людях так, словно описывал бракованные детали на конвейере. В его тоне сквозило легкое, едва уловимое презрение.

— Они хотят, чтобы кто-то пришел и сказал им, как жить, что есть, с кем спать, во что верить, — голос Профессора стал чуть громче, заполняя пространство кабинета. — Они добровольно отдают свой разум первому встречному харизматику, потому что их собственный разум для них — непосильная ноша. Когда я слушаю их истории, я вижу не трагедию невинности. Я вижу закономерный итог интеллектуальной капитуляции. Моя задача — вытащить их оттуда, да. Но не потому, что они вызывают у меня умиление. А потому, что их слабость — это питательная среда для тех, кто действительно опасен. Для лидеров.

Я почувствовал, как по спине пробежал холодок. Человек, которого общество считало главным защитником слабых, на самом деле презирал тех, кого защищал. Для него они были не людьми, нуждающимися в утешении, а лишь симптомами болезни, биомассой, не способной к самостоятельному существованию.

— Если жертвы вызывают у вас такое... академическое разочарование, — осторожно подбирая слова, спросил я, — то, как вы относитесь к тем, кто ими управляет? К лидерам этих групп? К манипуляторам?

Профессор перевел взгляд на меня. И в этот момент его лицо неуловимо изменилось. Исчезла снисходительная усталость. В глазах появился живой, острый, почти хищный блеск. Он подался вперед, положив локти на стол.

— О, вот это действительно интересная тема, Антон. Лидеры. Архитекторы чужих реальностей.

Он замолчал на секунду, словно смакуя эту мысль.

— Видите ли, чтобы понять природу абсолютного контроля, недостаточно изучать только религиозные секты. Нужно смотреть шире. Нужно смотреть на тех, кто доводит идею контроля над человеком до ее логического, физического абсолюта. Я много лет изучаю криминальную психологию, в частности, психологию серийных преступников. И знаете, что поражает больше всего?

Я отрицательно покачал головой, не отрывая взгляда от его лица.

— Их способность к тотальной организации реальности, — произнес Профессор с пугающим восхищением в голосе. — Обыватель думает, что серийный убийца — это безумец с пеной у рта, бегающий по ночным улицам. Но это иллюзия. Настоящие, серийные хищники обладают высочайшим интеллектом и потрясающей социальной адаптивностью. Они ведут двойную жизнь. Они носят маску идеальной «нормальности». Они могут быть прекрасными соседями, заботливыми отцами, уважаемыми профессионалами. Никто, понимаете, никто в их окружении даже не подозревает, на что они способны.

Он встал из-за стола и медленно прошелся вдоль стены с дипломами. Его шаги были бесшумными, кошачьими.

— У них есть так называемые «периоды охлаждения», — продолжал он, не глядя на меня. — Время между актами насилия, когда они идеально интегрированы в социум. Они не просто прячутся. Они наслаждаются тем, что находятся на виду, зная свою тайну. Это высшая форма интеллектуального превосходства над толпой.

Профессор остановился у небольшого книжного шкафа, достал оттуда толстый том в черной обложке и открыл его на заранее заложенной странице.

— В книге «Journey Into Darkness» выдающиеся профайлеры ФБР Джон Дуглас и Марк Олшейкер очень точно описывают этот феномен. Послушайте, как они характеризуют внутренний мир такого человека.

Он поднял книгу и начал читать. Его голос звучал глубоко и резонирующе, словно он читал не криминалистический текст, а философский трактат:

— «На протяжении всей жизни они считают себя жертвами: ими манипулировали, ими доминировали, их контролировали другие. Но здесь, в этой одной ситуации, подпитываемой фантазией, этот несостоятельный, неэффективный “никто” может сам манипулировать и доминировать над своей жертвой; он может быть в контроле. Он может выстроить всё так, как захочет. Он решает, будет ли жертва жить или умрёт, как именно она умрёт. Всё зависит от него; наконец-то он принимает решения».

Профессор закрыл книгу с сухим щелчком и положил ее на стол.

— Вы понимаете глубину этой трансформации, Антон? — он посмотрел на меня в упор. — Человек берет хаос своей жизни и превращает его в абсолютный порядок. Он становится творцом. Он решает, кто будет жить, а кто умрет. И самое главное — он контролирует сам процесс умирания.

Я сидел в своем мягком, проваливающемся кресле и чувствовал, как мне не хватает воздуха. Профессор говорил о самых страшных преступниках в истории человечества, но в его словах не было ни отвращения, ни морального осуждения. Там было восхищение. Восхищение их способностью подчинять себе чужую волю, их умением играть в Бога.

— В той же книге, — добавил Профессор, возвращаясь к своему креслу, — Дуглас и Олшейкер пишут еще одну важную вещь. «Как мы писали об “убийце из похоти”: “Его можно было бы охарактеризовать как нарушителя порядка и манипулятора людьми, озабоченного исключительно собой. Он испытывает трудности в отношениях с семьей, друзьями и “фигурами власти”, проявляя антисоциальное поведение, которое может включать убийство. Цель асоциального индивида — свести счёты с обществом”».

Он сел, снова сложив руки домиком.

— Свести счёты с обществом, — задумчиво повторил он. — Доказать обществу, что его мораль — это фикция. Что правила существуют только для тех, кто слишком слаб, чтобы их нарушать. Эти люди, при всей их чудовищности, обладают одной чертой, которой лишены обыватели. Они не боятся заглянуть в бездну и сказать: «Здесь правила устанавливаю я».

— Но ведь это патология, — тихо сказал я. — Это разрушение человеческой природы. Они отнимают у людей самое ценное — жизнь.

Профессор снисходительно вздохнул.

— Жизнь, смерть... Мы слишком сакрализируем эти понятия, Антон. Посмотрите, как современное общество относится к смерти. Оно ее боится. Оно прячет ее.

Он отвернулся к окну. Свет снова очертил его профиль жестким контуром.

— Я много размышлял об этом. Знаете, как сейчас умирают люди? Умирание переносится в больничные стены, где живущего последние дни человека загружают наркотиками, транквилизаторами, антидепрессантами — чем угодно, только бы он не пребывал в полном сознании, не устроил бы никаких истерик или незапланированных выходов, чтобы его самого не мучили страхи и чтобы он в таком полубессознательном состоянии отошёл в мир иной.

Он произнес эту фразу с нескрываемым отвращением.

— Медицина крадет у человека осознанность его конца. Она превращает смерть в физиологическую процедуру. А ведь смерть — это кульминация. Это момент абсолютной истины. И те, кто способен контролировать этот момент, кто способен смотреть в глаза уходящему и видеть его страх, его осознание... они прикасаются к чему-то большему, чем просто биология. Они прикасаются к власти в ее чистом, дистиллированном виде.

В кабинете повисла тяжелая тишина. Слышно было только, как за окном ветер бьет ветками старого вяза по стеклу. Я смотрел на человека, сидящего напротив меня. На его безупречный пиджак, на его благородную седину, на стену правительственных наград за его спиной. Общество доверило ему право определять, что есть добро, а что — зло. Общество дало ему власть разрушать жизни тех, кого он назовет «сектантами» или «манипуляторами». Но сейчас, в этой тишине, я отчетливо понимал: он ненавидит манипуляторов не потому, что они творят зло. Он ненавидит их как конкурентов. Он изучает их методы не для того, чтобы защитить слабых, а потому, что искренне восхищается их способностью к абсолютному контролю.

Он сам был высшей формой того, с чем боролся.

— Вы выглядите потрясенным, Антон, — мягко заметил Профессор, нарушив молчание. — Я напугал вас своими рассуждениями?

— Нет, — солгал я, стараясь унять легкую дрожь в пальцах. — Просто это... неожиданный ракурс. Вы говорите о контроле над жизнью и смертью так, словно это шахматная партия.

— Вся жизнь — это шахматная партия, мой юный друг. И большинство людей в ней — даже не пешки. Они — сама доска, на которой играют другие.

Он посмотрел на часы на своем запястье — дорогие, швейцарские, с тонким кожаным ремешком.

— Наше время подходит к концу. Но прежде чем вы уйдете, позвольте рассказать вам одну короткую историю. В качестве иллюстрации к нашему разговору о контроле.

Я кивнул, не выключая диктофон.

— Несколько лет назад, — начал Профессор, откинувшись на спинку своего жесткого кресла, — мы совместно с правоохранительными органами разрабатывали одну очень закрытую, герметичную группу. Ее лидер, назовем его Михаил, выстроил внутри своей общины идеальную тоталитарную систему. Он контролировал все: финансы, браки, наказания. Он был для них богом. Мы собирали материалы долго, тщательно. И вот, настал день операции. Спецназ начал штурм его загородного комплекса.

Профессор говорил медленно, словно заново переживая тот день.

— Михаил понял, что это конец. Что его империя рушится, что через несколько минут на его запястьях защелкнутся наручники, и он превратится из бога в обычного уголовника, сидящего в камере. Знаете, что он сделал?

— Пытался бежать? — предположил я.

— Нет. Бегство — это удел слабых. Он заперся в своем кабинете. Когда бойцы выбили дверь, они нашли его на полу. Он принял смертельную дозу цианида.

Профессор замолчал. Я ждал продолжения, ждал морали этой истории. Ждал слов о том, как трусливо этот человек ушел от правосудия, или о том, как трагично, что он не понес законного наказания.

Но Профессор молчал. Я посмотрел на его лицо.

Он смотрел куда-то сквозь меня, в пустоту кабинета. И на его губах играла улыбка. Едва заметная, тонкая, почти призрачная улыбка. В ней не было ни торжества правосудия, ни сожаления. Он улыбался поступку Михаила. Он одобрял его. Потому что в последнюю секунду своей жизни лидер культа не отдал контроль государству. Он сам принял решение, как и когда умрет. Он сохранил свою власть до последнего вздоха. И Профессор, главный борец с культами, втайне аплодировал этому акту абсолютной гордыни.

— Спасибо за уделенное время, Александр Леонидович, — я щелкнул кнопкой диктофона и с трудом поднялся из глубокого кресла. Мои ноги казались ватными.

— Всегда рад помочь ищущему уму, Антон, — Профессор тоже встал, вновь превратившись в безупречного, вежливого академика. — Надеюсь, наш разговор поможет вам в написании материала.

Я попрощался и вышел из кабинета. Тяжелая дверь с латунной табличкой мягко закрылась за моей спиной, отрезая меня от слепящего света и давящей атмосферы.

Я стоял в пустом, прохладном коридоре университета. Дождь за окном усилился, барабанил по стеклам. Я глубоко вдохнул запах старой пыли и мастики, пытаясь успокоить колотящееся сердце. Мой диктофон записал каждое слово. У меня был блестящий материал для статьи. Умный, парадоксальный, глубокий.

Но, спускаясь по мраморной лестнице к выходу, я не мог думать о статье. Перед моими глазами стояло лицо Профессора в тот момент, когда он рассказывал о самоубийстве лидера культа.

Я шел к дверям и ловил себя на одной-единственной, пульсирующей мысли, от которой мне становилось по-настоящему страшно: почему человек, посвятивший жизнь спасению людей от чудовищ, улыбается так, словно сам является одним из них?

Глава 3. Стёртые имена

Запах старой газетной бумаги обладает особым, ни с чем не сравнимым свойством. Он не просто оседает в легких сухой, кисловатой пылью; он словно замедляет само время, погружая сознание в вязкую, неподвижную среду чужого прошлого. В эпоху цифровых технологий, когда любая информация доступна по одному клику, физические архивы кажутся анахронизмом. Но я знал по опыту: интернет помнит далеко не всё. Сеть пластична, ее легко редактировать, зачищать, переписывать в угоду текущему моменту. Настоящая, нетронутая история хранится здесь, в подвалах Российской государственной библиотеки, среди бесконечных стеллажей, заставленных картонными папками и коробками с микрофильмами.

Я сидел за длинным деревянным столом в читальном зале отдела периодики. Зеленая лампа отбрасывала на столешницу ровный, спокойный свет. За окнами, скрытыми тяжелыми бархатными шторами, продолжал моросить бесконечный октябрьский дождь, но здесь, в этом герметичном пространстве, царила абсолютная, почти звенящая тишина. Лишь изредка ее нарушал сухой шелест переворачиваемых страниц да приглушенный кашель пожилого исследователя за соседним столом.

Моей целью были девяностые годы. То самое время, когда Профессор, вернувшись из эмиграции, только начинал выстраивать свою империю влияния. Я хотел понять, как именно формировался этот монолитный, непререкаемый авторитет. Неужели с самого начала общество приняло его идеи безоговорочно? Неужели не было тех, кто пытался спорить, кто видел опасность в его радикальном подходе к человеческой психике?

Передо мной лежала стопка пожелтевших подшивок научных вестников и общественно-политических газет за период с 1994 по 1998 год. Я методично просматривал страницу за страницей, вчитываясь в колонки убористого шрифта. И спустя несколько часов кропотливой работы я нашел то, что искал.

Первое имя вынырнуло из небытия на страницах малотиражного социологического журнала за весну 1995 года. Илья Борисович Зимин, доктор исторических наук, специалист по социальной антропологии. В своей объемной статье он открыто и весьма аргументированно критиковал методологию Профессора. Зимин писал не эмоциями, а фактами. Он указывал на то, что Профессор намеренно стирает грань между традиционными религиозными меньшинствами и действительно опасными криминальными группами. Зимин предупреждал, что подобный подход ведет к созданию искусственной моральной паники в обществе, к стигматизации невинных людей и, в конечном итоге, к оправданию государственного насилия над инакомыслящими.

Текст Зимина был блестящим образцом академической полемики — уважительным, глубоким, но абсолютно бескомпромиссным. Он не переходил на личности, он разбирал сами идеи.

Я сделал выписку в блокнот и заказал все последующие публикации, где упоминалась фамилия Зимина. То, что открылось мне в следующие несколько часов, заставило меня забыть о времени и усталости. Я наблюдал за процессом планомерного, хладнокровного социального уничтожения человека.

Сразу после выхода критической статьи Зимина в академическом журнале, в крупных, лояльных Профессору средствах массовой информации началась беспрецедентная кампания. Это не было научной дискуссией. Это была показательная казнь.

Я анализировал подшивки одной популярной ежедневной газеты того времени. Только за один год, с осени 1995 по осень 1996 года, на ее страницах вышло двадцать две статьи, так или иначе посвященные Илье Зимину. Двадцать два материала, написанных слаженно, словно по единой методичке. Автором большинства из них выступал один и тот же журналист, чье имя сегодня уже забыто, но тогда он явно выполнял роль цепного пса.

Риторика этих статей поражала своей изощренностью. Журналисты не пытались опровергнуть научные тезисы Зимина. Они били по его репутации, используя весь арсенал манипулятивного воздействия на массовое сознание. В текстах постоянно присутствовали унижающие достоинство комментарии, намеренно искажались факты его биографии. Использовались провокационные формулировки, тактики прямых обвинений и едких насмешек, направленных на подрыв доверия к нему как к ученому и гражданину.

Читательская аудитория, воспринимая подобную информацию из авторитетных СМИ, не просто усваивала предложенные оценки. Люди вырабатывали устойчивые негативные установки, начиная рассматривать любую последующую деятельность Зимина исключительно через призму навязанного страха и отторжения. В статьях постоянно муссировалась мысль о том, что Зимин, защищая права меньшинств, фактически потворствует насилию и разрушению традиционных ценностей. Это было виртуозное манипулирование чувством тревоги: аудитории внушали страх перед невидимой угрозой, а Зимина выставляли пособником этой угрозы.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.